

УДК 159.9  
ББК 88.4  
С15

Серия «Шляпа Оливера Сакса»

Oliver Sacks

EVERYTHING IN ITS PLACE

Перевод с английского *А. Андреева*

Серийное оформление *Я. Паламарчук*

Оформление обложки *Г. Смирновой*

Печатается с разрешения наследников автора  
и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

**Сакс, Оливер.**

С15 Все на своем месте : [сборник] / Оливер Сакс ; [перевод с английского А. Андреева]. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 320 с. — (Шляпа Оливера Сакса).

ISBN 978-5-17-120040-4

Оливер Сакс — известный британский невролог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых — «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» — стали международными бестселлерами.

Оливер Сакс написал много книг, и все они очень разные, но в каждой из них красной нитью проходит гуманистическое отношение к пациенту. К сожалению, далеко не все свои мысли и научные идеи он успел оформить в полноценные книги, и они остались лишь в форме заметок и небольших эссе. Однако они представляют слишком большую ценность, чтобы можно было оставить их без внимания, а потому они объединены в этот сборник. Сборник, в котором каждый читатель найдет нечто полезное для себя лично и будет возвращаться к этой книге снова и снова.

УДК 159.9  
ББК 88.4

© The Estate of Oliver Sacks, 2019

© Перевод. А. Андреев, 2020

Школа перевода Баканова, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

ISBN 978-5-17-120040-4

## **ПЕРВЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ**



## Дети воды

**М**ы были детьми воды — я и три моих брата. Наш отец, чемпион по плаванию (он побеждал в пятнадцатимильном заплыве у острова Уайт три года подряд), любил плавать больше всего на свете и, едва каждому из его детей исполнялась неделя от роду, знакомил нас с водой. В таком возрасте плавание — инстинкт, и мы (будь то хорошо или плохо) никогда не «учились» плавать.

Я вспомнил об этом, когда посещал Каролинские острова в Микронезии, где даже малыши бесстрашно ныряли в воды лагуны и плавали — обычно по-собачьи. Там плавают все, «не умеющих» держаться на воде просто нет, мастерство островитян бесподобно. Магеллан и другие путешественники, побывавшие в Микронезии в шестнадцатом веке, сравнивали местных жителей — плавающих, ныряющих и скачущих с волны на волну — с дельфинами. Дети там ощущают воду как свою естественную среду и, по словам одного исследователя, «больше похожи на рыб, чем на людей» (именно у обитателей Ти-

хоокеанских островов жители Запада переняли кроль — красивые, мощные гребки; этот стиль гораздо больше подходит для человека, чем лягушачий брасс, распространенный в прежние времена).

У меня не осталось воспоминаний о том, как я учился плавать; думаю, я освоил кроль, плавая с отцом, хотя его неспешные, размеренные, пожирающие мило за милей гребки (он был мощным мужчиной весом килограмм под сто) не очень подходили для меня, маленького мальчика. Но я видел, как мой старик, грузный и неуклюжий на суше, в воде становился грациозным, точно дельфин; да и сам я, стеснительный, нервный и тоже довольно неловкий, обретал в воде новое существование. Живо вспоминаю летний отдых на побережье в Англии, через месяц после моего пятого дня рождения, когда я ворвался в спальню родителей и принялся тормозить громадную, как у кита, тушу отца. «Пошли, папа! — кричал я. — Пошли плавать». Он медленно повернулся и открыл один глаз: «И с чего это ты решил будить старого сорокатрехлетнего человека в шесть утра?»

Теперь, когда отца уже нет, а сам я почти вдвое старше, это далекое воспоминание вызывает у меня и смех, и слёзы.

Подростком мне пришлось тяжело. У меня развилась странная болезнь кожи: «эритема ан-

нуляре центрифугум», — говорил один специалист, «эритема гиратум перстанс», — настаивал другой; красивые звучные слова, но ни один специалист ничего не мог поделать, и я покрылся мокнущими болячками. Я выглядел — или мне, по крайней мере, так казалось — как прокаженный. Я не смел раздеваться на пляже или в бассейне; только изредка, если повезет, находил отдаленное озеро или пруд.

В Оксфорде кожа внезапно очистилась, и я испытал такое невероятное облегчение, что мне хотелось плавать обнаженным, чувствовать, как вода оmyвает все мое тело. Иногда я ходил плавать на Парсонс-Плеже на излучине реки Чаруэлл — это место еще с 1680-х, а то и ранее, было отведено под мужской нудистский пляж, и считалось, что там обитают призраки Суинберна и Клафа. Летними вечерами я брал ялик, находил укромное местечко, где оставить лодку, и лениво плавал до конца дня. Иногда вечером я отправлялся в затяжные забеги по бечевой тропе вдоль Айзиса, мимо шлюза Иффли, далеко за пределы города. А потом нырял в реку и плыл, пока не сливался с ней воедино.

В Оксфорде плавание стало главной моей страстью. Когда я в середине 1960-х приехал в Нью-Йорк, я начал плавать с пляжа Орчард в Бронксе, а порой делал круг вдоль острова Сити-Айленд — такой заплыв занимал

несколько часов. Собственно, именно так я нашел дом, в котором прожил потом двадцать лет: остановился на полпути, заметив очаровательную беседку у самого берега, выбрался из воды и пошел по улице до красного домика, выставленного на продажу; озадаченные владельцы показали мне (с меня еще капала вода) весь дом, я дошел до местного риелтора и убедил ее в своей заинтересованности (ей были в новинку клиенты в плавках), вернулся в воду на другой стороне острова и поплыл обратно на пляж Орчард — став по ходу заплыва владельцем дома.

Обычно я плавал на открытой воде — я был тогда морозоустойчивей — с апреля по ноябрь, а зимой — в бассейне местного Христианского союза молодежи. В 1976 и 1977 годах меня назвали лучшим стайером в маунт-вернонском Христианском союзе молодежи, в Вестчестере я проплыл пятьсот дистанций — шесть миль — во время соревнования и плыл бы еще, но судьи сказали: «Хватит! Пожалуйста, ступай домой».

Кто-то решит, что пятьсот дистанций — монотонное, скучное занятие, однако для меня плавание никогда не было ни монотонным, ни скучным. Плавая, я получал особое удовольствие, мои ощущения были близки к экстазу. Я полностью погружался в плавание, в каж-

дый гребок, и при этом мысль текла свободно, не встречая препятствий, словно в трансе. Я никогда не встречал такого мощного, такого здорового источника эйфории — и «подсел» на него. Я до сих пор капризничаю, когда не удается поплавать.

Блаженный Иоанн Дунс Скот в XIII веке говорил о *condelectati sibi* — воле, находящей удовольствие в собственных действиях; а Михай Чиксент-михайи, уже в наше время, говорит о «потоке». Плавание содержит в себе нечто в высшей степени правильное, присущее любой подобной текучести и, так сказать, *музыкальной* деятельности. Плюс еще чудо плавучести: нас поддерживает плотная прозрачная среда. В воде можно двигаться, с ней можно играть — с воздухом ничего такого не сделаешь. Руками можно пользоваться как гребным колесом или рулем; можно превратиться в маленький гидроплан или подлодку, своим телом исследовать физику потока.

А кроме того, в плавании есть глубокий символизм — образные резонансы, мифические потенциалы.

Отец называл плавание «эликсиром жизни»; для него, похоже, так и было: он плавал каждый день, только чуть медленнее со временем, до солидного возраста — до девяноста четырех лет. Надеюсь, я последую его примеру и буду плавать до смерти.



## Вспоминая Южный Кенсингтон

Музеи я любил всегда, сколько себя помню. В моей жизни они играли центральную роль: будили воображение и показывали строение мира в живой осязаемой форме — только в миниатюре. Ботанические сады и зоопарки я люблю по той же причине: они показывают природу, но природу классифицированную, раскрывают таксономию жизни. Книги в этом смысле — не реальность, слова. А музеи — реальность, организованная в стиле книги; они раскрывают странную метафору — «книга природы».

Четыре великих музея Южного Кенсингтона — все на одном участке земли, построенные в высоком стиле викторианского барокко, — воспринимались как единый комплекс, позволяющий сделать естествознание, науку и культуру публичными и доступными для каждого.

Музеи Южного Кенсингтона — наравне с Королевским обществом и его Рождественскими лекциями — были уникальным викторианским образовательным учреждением. Для меня они до сих пор, как в детстве, раскрывают сущность музейного дела.

Музей естествознания, Геологический музей, Музей науки и Музей Виктории и Альберта, посвященный истории культуры. Я питал слабость к наукам, так что в Музей Виктории и Альберта

не ходил, зато остальные три посещал постоянно — в свободные вечера, в выходные и праздники, когда только мог. Я негодовал, что нельзя попасть в музеи, когда они закрыты, и однажды надумал остаться в Музее естествознания, спрятавшись перед закрытием в зале ископаемых беспозвоночных (он охранялся не так серьезно, как залы динозавров или китов). Там я провел волшебную ночь, прохаживаясь по залам с фонариком. Знакомые животные выглядели сверхъестественными и страшными; я крался, а их морды внезапно возникали из темноты или нависали, как призраки, в тусклом свете фонаря. Неосвященный музей был царством кошмара, и я не слишком расстроился, когда настало утро.

В Музее естествознания меня встречали друзья: *какопс* и *эриопс*, гигантские ископаемые амфибии, у которых в черепе имеется отверстие для третьего, теменного глаза; медуза *харибда* из рода кубомедуз, низшее из животных, имеющих нервные ганглии и глаза; прекрасные стеклянные модели *радиолярии* и *гелиозои*, — но моей глубочайшей любовью, особой страстью были головоногие, которых в музее насчитывалось громадное множество.

Мою зоологическую (точнее говоря, таксономическую) страсть разделяли два моих друга: Джонатан Миллер и Эрик Корн. Каждый из нас привязался к своему типу или классу: Джона-

тан — к многощетинковым червям, Эрик — к голотуриям, а я, любитель осьминогов, естественно — к головоногим. Я часами мог разглядывать кальмаров: *Sthenoteuthis caroli*, выброшенного на берег у Йоркшира в 1925 году, или экзотического, черного как сажа, *Vampyroteuthis* (увы, здесь была только восковая модель) — редкую глубоководную тварь с похожей на зонтик перепонкой между щупальцами, поблескивающую в складках яркими светящимися звездочками. И, конечно, *Architeuthis* — императора гигантских кальмаров, сжавшего смертельным объятием кита.

Но не экзотические гиганты приковывали мое внимание. Я любил, особенно в залах насекомых и моллюсков, открывать ящики под стендами, чтобы увидеть все разнообразие, все особенности отдельного вида, узнать место его обитания. Я не мог, подобно Дарвину, отправиться на Галапагосы и сравнить вьюрков на всех островах, зато мог проделать нечто подобное в музее. Я был «как будто» натуралистом, воображаемым путешественником и мог объездить весь мир, не покидая Южного Кенсингтона.

А когда музейные работники привыкли ко мне, передо мной иногда распахивались массивные запертые двери в закрытую зону нового Исследовательского корпуса, где кипела настоящая музейная работа: полученные со всех концов света образцы сортировались, изучались, препарир-

ровались; выделялись неизвестные ранее виды — порой для них устраивали специальные экспозиции (одна была посвящена целаканту — недавно обнаруженной ископаемой рыбе *Latimeria*, которая считалась вымершей еще в меловой период). Я целые дни пропадал в Исследовательском корпусе, пока не отправился в Оксфорд; Эрик Корн провел там целый год.

Я любил старинную обстановку музея — стекло и красное дерево, и пришел в ярость, когда в 1950-е, в мои университетские годы, интерьер музея стал современным и безвкусным, и там начали устраивать модные выставки (ставшие в конце концов интерактивными). Джонатан Миллер разделял мое отвращение и мою ностальгию. «Я безумно тоскую по той подернутой сепией эпохе, — однажды написал он мне. — Ужасно хочется, чтобы все внезапно вернулось в зернистый монохром 1876-го».

Перед Музеем естествознания был разбит чудесный сад, над которым возвышались стволы *Sigillaria*, давно вымерших ископаемых деревьев, и разнообразные хвощевидные *Calamites*. Меня тянуло к этой доисторической ботанике почти с болезненной силой; если Джонатан тосковал по зернистому монохром 1876-го, то меня привлекал зеленый монохром, саговые леса юрского периода. В юности мне даже снились по ночам гигантские древовидные плауны и хвощи, перво-